

тельные, а на созидательныя и охранительныя силы: прежде всего на новую русскую интеллигенцію «строителей» Россіи, на ея политическій разум, не потерявшій окончательно связи с породившим ее народом. В единеніи народа со своей интеллигенціей — залог раскрѣпощенія народнаго труда и освобожденія русской культуры.

Жребій Пушкина

(Читано на засѣданіи Богословскаго Института
памяти Пушкина 28 февраля 1937 года)

1.

Русскій народ, вмѣстѣ со всѣм культурным міром, нынѣ поминает великаго поэта. Но никакое міровое почитаніе не может выявить того, чѣм Пушкин является для нас русских. В нем самооткровеніе русскаго народа и русскаго генія. Он есть в нас мы сами, себѣ окрывающіеся. В нем говорит нам русская душа, русская природа, русская исторія, русское творчество, сама наша русская стихія. Он есть наша любовь и наша радость. Она проникает в душу, срастаясь с ней, как молитва ребенка, как ласка матери, как золотое дѣтство, пламенная юность, мудрость зрѣлости. Мы дышем Пушкиным, мы носим его в себѣ, он живет в нас больше, чѣм сами мы это знаем, подобно тому как живет в нас наша родина. Пушкин и есть для нас в каком то смыслѣ родина, с ея неизслѣдимой глубиной и неразгаданной тайной, и не только поэзія Пушкина, но и сам поэт. Пушкин — чудесное явленіе Россіи, ея как бы апофеоз, и так именно переживается нынѣ этот юбилей, как праздник Россіи. И этот праздник должен пробуждать в нас искренность в почитаніи

Пушкина, выявлять подлинную к нему любовь. Но такая любовь не может ограничиться лишь одним его славословіем или услажденіем плѣнительной сладостью его поэзіи. Она должна явиться и серьезным, отвѣтственным дѣлом, подвигом правды в стремленіи понять Пушкина в его творчествѣ, как и в нем самом. О том, кому дано сотворить великое, надлежит знать то, что еще важнѣе нежели его твореніе. Это есть его жизнь, не только как фактическая біографія, или литературная исторія творчества, но как подвиг его души, ея высшая правда и цѣнность. Пушкин не только есть великій писатель, нѣтъ, он имѣет и свою религіозную судьбу, как Гоголь, или Толстой, или Достоевскій, и, может быть, даже болѣе значительную и, во всяком случаѣ, болѣе таинственную. Поэт явил нам в своем творчествѣ не только произведенія поэзіи, но и самого себя, откровеніе о жизни своего духа в ея нетлѣнной подлинности. Нынѣ изучается каждая строка его писаній, всякая подробность его біографіи. Благодарным потомством воздвигнут достойный памятник поэту этой наукой о Пушкинѣ. Но позволительно во внѣшних событіях искать и внутренних свершеній, во временном прозрѣвать судьбы вѣчнаго духа, постигать их не только в земной жизни, но и за предѣлами ея, в смерти, в вѣчности. Очевидно, такое заданіе превышает всякую частную задачу «пушкинизма». Оно и непосильно в полной мѣрѣ для кого бы то ни было. И однако оно влечет к себѣ с неотразимой силой, как к нѣкому, хотя и тяжелому, но священному долгу, отвѣтственности перед поэтом, нашей любви к нему. Итак, да будет вѣнком к его нерукотворному памятнику и эта немощная попытка уразумѣнія его духовнаго пути, в котором таится его судьба, послѣдній и высшій смысл его жизни.

Столѣтіе смерти Пушкина... Тогда, сто лѣтъ назад, эта смерть ударила по сердцам как народное горе, непоправимая бѣда, страшная утрата. Она переживалась как ужасная катастрофа, слѣпой рок, злая бессмыслица, отнявшая у русскаго народа его высшее достояніе. Это чувство живо и теперь. И нынѣ, через сто лѣтъ, смерть Пушкина оста-

ется в русской душѣ незаживающей раной. Как и тогда, мы стоим перед ней в растерянной безотвѣтности и мучительном недоумѣніи. И мы снова должны до дна испить эту чашу горькой полыни, сызнова пережить эту смерть во всей ея страшной, вопіющей безсмыслицѣ: как будто свалившійся с крыши камень поразил на смерть нашего величайшего поэта, и отнял его от нас в цвѣтѣ творческих сил, на вершинѣ мудрости. Даже хотя бы он погиб от вражескаго удара, мы еще имѣли бы, на ком сосредоточить свой гнѣв. Но нѣт,

Жизнь его не враг отъял,
Он своею жертвой пал
Жертвой гибельнаго гнѣва.

Пушкину суждено было пасть на дуэли под пулей Дантеса, пустого свѣтскаго льва, юнаго кавалергарда, который к тому же выступил на дуэли вмѣсто своего названнаго отца, по вызову самого Пушкина. Противник послѣ выстрѣла в Пушкина ждал и принял его отвѣтный выстрѣл и, если не был им убит, то во всяком случаѣ не по отсутствію желанія к тому самого Пушкина. Презрѣніе и гнѣвъ всѣхъ любящихъ поэта — во всѣ времена и донинѣ — обычно сосредоточиваются на этомъ чужестранцѣ, на долю котораго выпала такая печальная судьба. Но если заслуживаетъ всякаго порицанія его волокитство за женой Пушкина, впрочемъ столь же обычное в большомъ свѣтѣ, как и в жизни его самого, то самая смерть Пушкина не можетъ быть вмѣнена Дантесу какъ дѣло злой его воли. Пушкинъ самъ поставилъ къ барьеру не только другаго челоувѣка, но и самого себя вмѣстѣ со своей Музой и, в извѣстномъ смыслѣ, вмѣстѣ со своею женою и дѣтьми¹⁾, со сво-

1) Пушкинъ по дорогѣ къ мѣсту дуэли встрѣтилъ свою жену, от которой отвернулся (жена его тоже не узнала). В матеріалахъ нѣтъ никакого упоминанія о его прощаніи с дѣтьми передъ дуэлью, да оно, конечно, и не могло имѣть мѣста. Семья, которую онъ нѣжно любилъ, какъ бы выпала изъ его сознанія в этотъ роковой часъ.

ими друзьями, с своей Россіей, со всѣми нами. Естественно, что в теченіи цѣлаго вѣка — и в наши дни даже больше, чѣм когда либо, — вниманіе русской мысли сосредотачивается около этой раны русскаго сердца, нанесенной ему у проклятаго барьера. Как это могло случиться? Кто виноват? В чем причина страшнаго событія? Отвѣтъ обычно дается таким образом, что вина и причина дуэли ищется во внѣ и в других, всюду, только минуя самого Пушкина. Так повелось начиная с Лермонтова, который, впрочем, все-таки не мог не воскликнуть:

Зачѣм от мирных нѣг и дружбы простодушной
Вступил он в этот свѣтъ завистливый и душный?

Винили и винят «свѣтъ», жену поэта, двор. Теперь охотнѣе всего винят еще императора Николая I, будто бы находившагося в интимной близости с женой Пушкина (лишенная всякой убѣдительности новѣйшая выдумка). Иныя из этих обвиненій, конечно, по своему безспорны. Разумѣется, свѣтская среда, в которой вращался Пушкин (однако, если не считать не малаго числа преданных ему и достойных его друзей) не соответствовала его духовной личности. Ему суждено было одиночество гения, неизбѣжный удѣлъ подлиннаго величія. Справедливо и то, что он страдал одинаково как от преслѣдованій, так и от покровительства власти, и от своего камерюнкерскаго мундира, и от двойной цензуры, над ним тяготѣвшей. Справедливо, конечно, и то, что жена Пушкина со своими свѣтскими вкусами не была на высотѣ положенія, впрочем, может быть, и вообще недостижимой в данном случаѣ. В совокупности всѣх обстоятельств, жизнь Пушкина, особенно послѣдніе годы, была тяжела и мучительна. Однако из этого все-таки не вытекает того заключенія, которое обычно подразумѣвается или прямо высказывается, как очевидное, именно, что эти внѣшнія силы как будто подавили личность самого Пушкина и что именно онѣ — и только онѣ, — привели его к роковой дуэли. Вообще осмыслить бессмыслицу ищут, лишь находя в

злой волѣ других причину смерти Пушкина. Стремясь сдѣлать его самого безотвѣтной жертвой, не замѣчают, что тѣм самым хулят Пушкина, упраздняют его личность, умаляют его огромную духовную силу. Такое истолкованіе является лицепріятным в отношеніи к Пушкину, который, конечно, принижается этим пристрастіем и вовсе не нуждается в такой защитѣ. Он достоин того, чтобы самому отвѣтствовать перед Богом и людьми за свои дѣла. Конечно, и Пушкин есть только человек и, как таковой, подлѣжит вліяніям, как и ограниченности своей среды, сословія или класса, и для опредѣленія этих вліяній, понятно, умѣстны всякіе социологическіе реактивы, к которым теперь так охотно прибѣгают. Но ими хотят до конца разъяснить жизнь Пушкина, — а в частности и его дуэль, — и тѣм устранить самую личность Пушкина в неповторимой тайнѣ ея самотворчества. В этом социологизмѣ упраздняется и самая проблема всего «пушкинизма». И в отвѣтъ на такія посягательства надо сказать: руки прочь! Пушкин достоин того, чтобы за ним признана была и личная отвѣтственность за свою судьбу, которая здѣсь возлагается всецѣло на немощныя плечи этих «лукавых, малодушных, шальных, балованных дѣтей, злодѣев и тупых и скучных». Вершина не уничтожается предгоріями. Наша задача понять личность Пушкина в его собственном пути и в его личной судьбѣ. Его жизнь, хотя и протекала в опредѣленной средѣ и ею исторически окрашивалась и извнѣ направлялась, однако ею не опредѣлялась в своем собственном существѣ.

Ключем к пониманію всей жизни Пушкина является для нас именно его смерть, важнѣйшее событіе и самооткровеніе в жизни всякаго человека, а в особенности в этой трагической кончинѣ. Но развѣ соединимы эти слова: Пушкин и трагедія? Развѣ не прославлен он именно как носитель аполлиническаго начала свѣтлой гармоніи, радостнаго служенія красотѣ? Однако, гдѣ же гармонія в этом діонисическом буйствѣ с раздраніем самого себя? Откуда этот страшный конец? Аполлон на смертном ложѣ послѣ смертельнаго поединка! Для того, чтобы по-

стигнуть эту трагедию, мы должны обратиться к творческой жизни Пушкина и установить некоторыя ея основныя черты. Однако, онѣ существенно связаны с тѣм, что составляет его природный характер, *homo naturalis*, и на нем прежде всего надо сосредоточить вниманіе.

2.

Природный облик Пушкина отмѣчен не только исключительной одаренностью, но и таковым же личным благородством, духовным аристократизмом. Он родился ба-ловнем судьбы, ибо уже по рожденію принадлежал к высшему культурному слою стариннаго русскаго дворянства, что он сам в себѣ знал и так высоко цѣнил. Конечно, он наслѣдовал и всю распущенность русскаго барства, которая еще усиливалась его личным «африканским» темпераментом. При желаніи в нем легко и естественно различается психологія «класса» или сословія, как и обращенность к французской культурѣ, с ея утонченностью, но и с ея отравой. Величайшій русскій поэт говорил и мыслил по французски столь же легко, как и по русски, хотя творил он только на родном языкѣ. Даром и без труда дана была ему эта приобщенность к Европѣ, как и лучшая по тому времени школа, столь трогательно любимый им лицей. Сразу же послѣ школы он вступил на стезю жизни большого свѣта с ея пустотой и распущенностью, и спасла его от духовной гибели или онѣгинскаго разложенія его свѣтлая муза. Пушкину от природы, быть может, как печать его генія, дано было исключительное личное благородство. Прежде всего и больше всего оно выражается в его способности к вѣрной и безкорыстной дружбѣ: он был окружен друзьями в юности и до смерти, причем и сам он сохранял вѣрность дружбѣ через всю жизнь. «Пушкинисты» очень интересуются «дон-жуанским» списком Пушкина, но не менѣе, если не болѣе интересно остано-виться и над его дружеским списком, в которой вошли всѣ его великіе или значительные современники. Эта способность к дружбѣ стоит в связи с другой его — и надо

сказать — еще болѣе рѣдкой чертой: он был исполнен благоволенія и сочувственной радости не только лично к друзьям, но и к их творчеству. Ему была чужда мертвящая зависть, темную и иррациональную природу которой он так глубоко прозрѣл в «Моцартъ и Сальери». Подобен самому Пушкину его Моцарт, соединеніе генія и «гуляки празднаго» :

За твое здоровье, друг, за искренній союз
Связующій Моцарта и Сальери,
Двух сыновей гармоніи!

Это голос самого Пушкина. Отношеніе Пушкина к современным писателям озарено сіяніем этого благоволенія: кого только из своих современников он не благословил к творчеству, не возлюбил, не оцѣнил! Он был поистинѣ братом для сверстников и признательным сыном для старших. Нельзя достаточно налюбоваться на эту его черту. Даже его многочисленны эпиграммы, вызванныя минутным раздраженіем, порывом гнѣва, большей частью благороднаго, или даже недоразумѣніем, свободны от низких чувств. Есть еще и другая черта, — природная, но и сознательно им культивированная, которая имѣет исключительную важность для его облика: Пушкин не знал страха. Напротив, его личная отвага и связанное с этим самообладаніе давали ему невѣдомую для многих свободу и спокойствіе. Достаточно вспомнить его в арзерумском походѣ (по воспоминаніям и его собственным запискам), или это утро послѣдней дуэли, когда он за час до оставленія дома пишет дѣловое письмо Ишимовой и зачитывается ея книгой с таким самообладаніем, как будто то был самый обыкновенный день в его жизни. «Есть наслажденіе в бою, и бездны мрачной на краю». «Перед собой кто смерти не видал, тот полнаго веселья не вкушал». «Ты, жажда гибели, свободный дар героя!» Эта черта зримо и незримо пронизывает всю его жизнь, придает ей особую тональность свободы и благородства. Нельзя однако не видѣть, сколь часто эта его безумная отвага

овладѣвала им, а не он владѣл ею: отсюда не только безстрашное, но и легкомысленное, безотвѣтственное отношеніе к жизни, бреттерство, свойственное юности Пушкина в его дуэльных вызовах по пустякам, как и послѣднее изступленіе: «чѣм кровавѣе, тѣм лучше» (сказанное им между разговором Соллогубу о предстоящей дуэли). Страх не связывал Пушкина ни в его исканіи смерти, ни в стихійных порывах его страстей. И это свойство освобождало в нем несобуданную стихійность, которая вообще характерна для его природы. Движеніе страстей овладѣвало им безудержно и безоглядно. Предохранительные клапаны отсутствовали, задерживающіе центры не работали. Когда Пушкин становился игралицем страстей, он дѣлался страшен (рассказ Жуковского в разговорѣ с Соллогубом о Геккернѣ: «губы его дрожали, глаза налились кровью. Он был до того страшен, что только тогда я понял, что он дѣйствительно африканскаго происхожденія»). Пушкин был стихійный человѣкъ, в котором сила жизни была неразрывно связана с буйством страстей, причем природныя свойства не умѣрялись в нем ни рефлексіей, ни аскетической самодисциплиной: он мог быть — и бывал — велик и высок в этой стихійности, но и способен был к глубокому паденію. С этим связана и Пушкинская эротика, которая находит для себя печальное выраженіе в его юношеской поэзіи, — отчасти под вліяніем французской литературы. Пушкину пришлось горячо и искренне каяться в этом, — с истинным величіем и безпощадной правдивостью, ему свойственными. Печальное проявленіе той же стихійности в Пушкинѣ мы наблюдаем — притом на протяженіи всей его жизни — также в страсти к картам, которая странным образом соединяется в нем с полной трезвостью и даже нѣкоторой практичностью в денежных дѣлах.

Эта африканская стихійность в Пушкинѣ соединялась с плѣнительной непосредственностью, очаровательной дѣтскостью поэта. Нельзя было не любоваться на этого веселаго хохотуна, кипучаго собесѣдника, шаловливаго повѣсу. Он может с одинаковым самозабвеніем пѣть

на базарѣ со слѣпцами, странствовать с цыганами, по дѣтски хлопать себѣ самому в ладоши за своего «Бориса»²⁾, скакать под пулями впереди войск на Кавказѣ, как и — увы! — отдаваться буйству Вакха и Киприды. Дѣтскость есть дар небес, но и трудный, иногда даже опасный дар, лишь тонкая черта отдѣляет его от ребячливости или, как мы бы сказали теперь, от инфантилизма и безотвѣтственности. В жизни Пушкина мы наблюдаем непрерывно двоящійся характер этого дара. Без него не было бы служителя муз, безпечнаго Моцарта, но и не было бы той безудержности перед соблазнами жизни, внутренними и внѣшними, которые мы с такой горечью в нем также видим... Ибо все двоятся в природѣ падшей, даже и райскіе дары, послѣ потеряннаго рая.

3.

Всѣ эти природныя свойства образуют ту душевную атмосферу, в которой живет и развивается геній. Кто может повѣдать о тайнѣ генія, кромѣ только его самого? Кому под силу вчувствованіе в жизнь генія, который имѣет свое особое видѣніе вещей, — ясновидѣніе? Геній созерцается нами как нѣкое чудо, творческое откровеніе, которое содержит в себѣ нѣчто новое, оригинальное и потому недоступное раціональной рефлексіи. Вѣроятно, состояніе творчества генія есть чувство райскаго блаженства челоуѣка, для котораго не стоит препоны между ним и міром, с него совлекаются «кожаныя ризы», и он сознает себя в своей божественной первозданности, как дитя Божіе.

«Но лишь божественный глагол до слуха чуткаго коснется», в отвѣтъ на него, как орел, пробуждается душа поэта. Однако, даже и наряду с поэтическим геніем нель-

²⁾ Мнѣ рассказывал Л. Н. Толстой (в одну из немногих наших встрѣч) со слов какой то современницы Пушкина, как он хвалился своей Татьяной, что она хорошо отдѣлала Онѣгина. В этом рассказѣ одного великаго мастера о другом обнаруживается вся непосредственность творческаго генія.

зя не удивляться в Пушкинѣ какой то нарочитой зрячести ума: куда он смотрит, он видит, схватывает, являет. Это одинаково относится к глубинам народной души, к русской исторіи, к человѣческому духу и его тайникам, к современности и современникам. Замѣчательно, что в этом трудѣ гения безотвѣтственность отсутствует: «служеніе муз не терпит суеты, прекрасное должно быть величаво». Гений есть и труд, способный доводить вещь до завершенности, кончать... Пушкин способен сказать: «миг вожделѣнный настал, окончен мой труд многолѣтній». И понять подлинное значеніе этих слов можно, взглянув на его рукописи. О том, как работал Пушкин, говорят, впрочем, не только его рукописи, но и вся его, так сказать, методика изслѣдованія, поэтического и историческаго. Как писатель, Пушкин абсолютно отвѣтственен. Он выпускает из своей мастерской лишь совершенныя изваянія (конечно, кромѣ того словеснаго праха, который, к сожалѣнію, бывал у него уносим порывом вѣтра, увлеченіем «и временным, и смутным»). Если самого Пушкина мудрость его свѣтлаго ума не всегда могла охранить от гибельных страстей, то для других он является совѣтником, цѣнителем, руководителем (как, напримѣр, для Гоголя). К сожалѣнію, на него самого легло тяжелое вліяніе эпохи французскаго просвѣтительства XVIII вѣка, его эпикуреизма, вольтеріанства, вмѣстѣ с релігіозным невѣріем. Но это было преодолено³⁾ Пушкиным естественно, с духовным

3) В очеркѣ «Александр Радищевъ» (1836 г.) мы читаем о Гельвеціи: «они жадно изучили начала его пошлой и безплодной метафизики... Теперь было бы для нас непонятно, каким образом холодный и сухой Гельвецій мог сдѣлаться любимцем молодых людей». По поводу сочиненія Радищева: «О челоуѣкѣ и его смертности и безсмертіи» Пушкин говорит: «умствованія онаго пошлы и не оживлены слогом. Радищевъ хотя и вооружается против матеріализма, но в нем еще виден ученикъ Гельвеція. Он охотнѣе излагает, нежели опровергает доводы чистаго атеизма». (В этом же очеркѣ, между прочим, Пушкин называет мысль «священным даром Божиим»). В «Мыслях на дорогѣ» говорится о благотворном вліяніи нѣмецкой философіи на московскую молодежь тѣм, что «она спасла молодежь от холоднаго скептицизма французской философіи». В юношеском стихотвореніи

его ростом, при наступлении зрѣлости: «так краски чуждыя с годами спадают ветхой чешуей». Здѣсь слѣдует особенно отмѣтить то, что можно опредѣлить как почвенность Пушкина, или, на теперешнем нашем языкѣ, его «русскость». Пушкин отдал полную дань юношеской революціонности, разлитой в тогдашнем обществѣ, в эту эпоху движенія декабристов, но он рано преодолѣл их интеллигентскую утопичность и барскую безпочвенность. Пушкин никогда не измѣнял завѣтам свободы, не терял того свободолюбія, которое была неотъемлемо присуще его благородству и искреннему его народолюбію (от юношескаго «В деревнѣ»: «увиди ли, друзья, народ освобожденный» и до послѣдняго: «что в наш жестокий вѣкъ возславил я свободу»). Однако Пушкин совершенно освободился от налета нигилизма, разрыва с родной исторіей, который составлял и составляет самую слабую сторону нашего революціоннаго движенія. Для нас не важно сейчас опредѣлять, в какой мѣрѣ Пушкин переходил мѣру в своем консерватизмѣ, может быть, и под вліяніем Жуковскаго. Все это — частности, но опредѣляющим началом в мышленіи Пушкина в пору его зрѣлости было духовное возвращеніе на родину, конкретный историзм мышленія, почвенность. В этом же контекстѣ он понимал и значеніе православія в исторических судьбах русскаго народа. Послѣднее, естественно, пришло вмѣстѣ с преодоленіем безбожія и связанной с этим переоцѣнкой цѣнностей. Дѣйствительно, мог ли Пушкин, с его проникающим в глубину вещей взором, остаться при скудной и слѣпой доктринѣ

«Безвѣріе» (1817 г.) Пушкин на основаніи опыта изображает его растлѣвающее вліяніе на умы, — «когда ум ищет Божества, а сердце не находит». К своему прошлому сам Пушкин умѣл относиться безлощадно: «начал я писать с 13-лѣтняго возраста и печатать почти с того же времени. Многого желал бы я уничтожить, как недостойное даже и моего дарованія, каково бы оно ни было. Иное тяготѣет как упрек на созвѣстїи моей. Но крайней мѣрѣ не должен я отвѣчать за проказы», — «стихи, преданные мною забвенію или написанные не для печати, или которые простительно было бы мнѣ написать на 19-ом году, но непростительно признать публично в возрастѣ зрѣлом и степенном».

безбожія и не постигнуть всего величія и силы христіанства? ⁴⁾ Только безстыдство и тупоуміе способны утверждать безбожіе Пушкина перед лицом неопровержимых свидѣтельств его жизни, как и его поэзіи. Переворот или естественный переход Пушкина от невѣрія (в котором, впрочем, и раньше было больше легкомыслія и снобизма, нежели серьезнаго умонастроенія) совершастся в серединѣ 20-ых годов, когда в Пушкинѣ мы наблюдаем опредѣленно начавшую религіозную жизнь. Ее он в общем, по своему обычаю, таил, но о ней он как бы проговаривался в своем творчествѣ, и тѣм цѣннѣе для нас эти свидѣтельства. Можно ли перед лицом всѣх его религіозных вдохновеній говорить о нерелигіозности Пушкина? Пушкин, как историк, как поэт и писатель, и наконец — что есть, может быть, самое важное и интимное — в своей семьѣ, конечно, являет собой образ вѣрующаго христіанина. Могло ли быть иначе для того, кто способен был прозирать глубину вещей, постигать дѣйствительность? В прошлом Рос-

4) Извѣстно отношеніе зрѣлаго Пушкина к Библии и Евангелію во всей их святой единственности. Таково же оно и в отношеніи к христіанству, как исторической силѣ. Так он говорит о «проповѣданіи Евангелія» среди Кавказских горцев: «развѣ истина дана для того, чтобы скрывать под спудом? Так ли мы исполняем долг христіанина? Кто из нас, муж вѣры и смиренія, уподобился святым старцам, скитающимся по пустыням Африки, Азіи и Америки, в рубищах, часто без обуви, крова и пищи, но оживленных теплом усердія?.. Мы умѣем спокойно в великолѣпных храмах блестять велерѣчіем... Кавказ ожидает христіанских миссіонеров». (Путешествіе в Арзерум). Пушкин с тревожным интересом провѣряет молву, будто язиды поклоняются сатанѣ. Убѣдившись в невѣрности ея, он прибавляет: «это объясненіе меня успокоило. Я оцель рад был за язидов, что они сатанѣ не поклоняются, и заблужденія их показались мнѣ гораздо простительнѣе». В отношеніи к значенію православія для русскаго народа слѣдует вспомнить слѣдующія сужденія Пушкина: «Екатерина явно гнала духовенство, жертвуя тѣм своему неограниченному властолюбію и угрождая духу времени». Но «греческое вѣроисповѣданіе, отдѣльное от всѣх прочих, дает нам особенный національный характер. В Россіи вліяніе духовенства столь же было благотворно, сколько пагубно в землях римско-католических... огражденное святѣйшей религіей, оно было всегда посрединком между народом и государем, как между человеком и божеством. Мы обязаны монахам нашей исторіей, слѣдовательно, и просвѣщеніем». (Историческіе очерки, 1822 г.).

си он обрѣлъ образ лѣтописца и слѣпца, прозрѣвшаго на мощах царевича Димитрія, в настоящем он услышал великопостную молитву и даже вразумленіе митрополита Филарета. Он постигал всю единственность Библии и Евангелія. Он крестя призывал благословеніе Христово на семью свою при жизни (во многих письмах) и перед смертью. Он умилялся перед дѣтской простотой молитвы своей жены, он знал Бога. И однако, если мы захотим опредѣлить мѣру этого вѣдѣнія, жизни в Богѣ у Пушкина, то мы не можем не сказать, что личная его церковность не была достаточно серьезна и отвѣтственна, вѣрнѣе, она все-таки оставалась барски-поверхностной, с непреодолимым язычеством сословія и эпохи⁵⁾. Казалось, орлиному взору Пушкина все было открыто в русской жизни. Но как же взор его в жизни церковной не устремился дальше свято-горскаго монастыря и даже м. Филарета? ⁶⁾ Как он не примѣтил, хотя бы через своих друзей Гоголя и Кирѣевскаго, изумительнаго явленія Оптиной пустыни с ея старцами? Как мог он не знать о святителѣ Тихонѣ Задонском? И, самое главное, как мог он не слышать о преподобном Серафимѣ, своем великом современникѣ? Как не встрѣтились два солнца Россіи? Последнее есть роковой и значительный, хотя и отрицательный, фактъ в жизни Пушкина, имѣющій символическое значеніе: Пушкин прошел мимо преп. Серафима, его не примѣтя. Очевидно, не на путях историческаго, бытоваго и даже мистическаго православія пролегла основная магистраль его жизни, судьбы его. Ему был свойствен свой личный путь и особый удѣлъ, — предстоаніе пред Богом в служеніи поэта.

⁵⁾ Больно читать в письмѣ къ жепѣ — особенно в свѣтѣ собственной судьбы Пушкина — его совершенно языческое, хотя и собственное его кругу, сужденіе о дуэли. «То, что ты пишешь о Павловѣ, примирило меня с ним. Я рад, что он вызвал Апрельева. У нас убійство может быть гнусным расчетом: оно избавляет от дуэли и подвѣргается одному наказанію, а не смертной казни».

⁶⁾ Собственное отношеніе Пушкина къ митрополиту Филарету (по крайней мѣрѣ позднѣйшее) является отнюдь не положительным: в замѣтках 1835 г. он называет его «старым лукавцем».

Что есть поэзія, и чему служит поэт? «Поэзія есть Бог в святых мечтах земли», — сказал друг Пушкина Жуковский. Точнѣе эта мысль должна быть выражена так: поэзія божественна в своем источникѣ, она есть созерцаніе славы Божества в твореніи. Не Бог, но Божество, Его откровеніе в твореніи, по преимуществу доступно поэзіи. Поэтическое служеніе, достойное своего жребія, есть священное и страшное служеніе: поэт в своей художественной правдѣ есть свидѣтель горняго міра, и в этом призваніи он есть «сам свой высшій суд». Поэты «рождены для вдохновенья, для звуков сладких и молитв», и это вдохновеніе есть «признакъ Бога», «чистое упоеніе любви поэзіи святой». Но оно знает и над собой еще болѣе высшій суд, пред которым склоняется: «велѣнію Божію, о муза, будь послушна». Поэзія есть служеніе истинѣ в красотѣ, но не лживым призракам, облегченным в красоту, растлѣвающим музу⁷⁾. Что же именно заставляет поэта называть поэзія святой? Свято для него (в своем особом смыслѣ) служеніе красотѣ, способность «благоговѣть богомольно пред святыней красоты», ея видѣніе и свидѣтельство о ней чрез творческое видѣніе в искусствѣ. Поэт воспринимает мір как откровеніе красоты, в которой и чрез которую ему открывается, становится доступной и мудрость. Источник красоты в небесах, истинная красота — от Духа Святаго. Знал ли это Пушкин? Вѣдал ли он, каким избраніем отяготѣла на нем рука Божія в его поэтическом дарѣ?

Было бы наивно и «прелестно» думать, что падшему человѣку, хотя бы и великому поэту, доступна в чистотѣ небесная красота, свѣтлое ея пламя, купина неопалимая. Небесные лучи проникают в поднебесную, разлагаясь и

7) Двусмысленно и соблазнительно звучащія слова:

«Тѣмы низких истин мнѣ дороже
Нас возвышающій обман»

в контекстѣ теряют свое прямое значеніе, что «viel lügen die Dichter».

преломляясь в сердце человеческом, из которого исходят все помышления его, добрые и злые. Искусство не автоматически и не медуично в своих вдохновениях, в нем совершается личное творчество, откровение личности поэта, возносимаго на крыльях красоты. Уже Платон знал, что есть не одна, но две красоты, две Афродиты: небесная и простонародная, ангельская и бѣсовская. Знал и Достоевский, что «красота страшная вещь, здѣсь Бог с дьяволом борется, а поле битвы сердца людей». Знал это по своему, конечно, и Пушкин, который являлся одновременно служителем красоты, как и ея плѣнником⁸⁾. Человѣческому сердцу дано растивать красоту и растлѣваться ею, и властью этой обладает и искусство. В низинах его пресмыкается блуд, живет «великая блудница, тайна, вавилон великій», на вершинах горит заря безсмертія, открывается «Бог в святых мечтах земли». Чѣм же было поэтическое творчество для Пушкина? Пушкин говорит о святости поэзии, о святом ея очарованіи, о святинѣ красоты. Святость есть вообще у него самая высшая категория. Будучи менѣ всего философом по складу своего ума, Пушкин является подлинным мудрецом относительно поэзии, как служенія красоты. И самый важный вопрос, который здѣсь возникает о Пушкинѣ, таков: каково в нем было отношеніе между поэтом и человѣком в поэзии и жизни? Кто его муза: «Афродита небесная» или же «простонародная»? Нельзя отрицать, что Пушкин нерѣдко допускал до себя и послѣднюю, поэтизировал низшія, «несублимированныя» и непреображенныя страсти, тѣм совершая грѣх против искусства, его профанируя. Но все

8)

В часы забав иль празднои скуки

Бывало музѣ я моеи

Ввѣряя извѣженныя звуки

Безумства, лѣни и страстей,

но

Твоим огнем душа палама

Отвергла мрак земных сует,

И вземлег арфѣ серафима

В священном ужасѣ поэт.

Две красоты, два вдохновения, кад бы две лиры.

же и при этой профанаціи, за которую он сам же себя бичевал впоследствии, Пушкин твердо знал, что поэзія приходит с высоты, и вдохновеніе — «призпак Бога». дар божественный. Пушкин никогда не был атеистом в поэзіи, даже в тѣ времена, когда он принижал свою лиру до недостойных кощунств и пародій⁹⁾. Здѣсь нельзя не остановиться на постоянных и пастойчивых свидѣтельствах Пушкина об его музѣ, которая «любила его с младенчества» и в разных образах являлась ему на его жизненном пути¹⁰⁾.

Что это? Литературный образ? Но слишком конкретен и массивен этот образ у Пушкина, чтобы не думать, что за ним скрывается подлинный личный опыт какого то наи-

⁹⁾ Характерно его отношеніе к Гавриліадѣ, которая представляет собой главный поэтический грѣх Пушкина (именно поэтической, а не эстетической, потому что эстетически она стоит на уровнѣ его мастерства). Едва ли можно сомнѣваться в ея принадлежности Пушкинскому перу, и однако мы наблюдаем его стремленіе даже перед друзьями всячески отрицать этого произведенія (и уж, конечно, не по мотивам только практическим). Так он пишет кн. Вяземскому (в 1828 году): «Мнѣ навязалась на шею преглупая шутка. До правительства дошла наконец Гавриліада, приписывают ее мнѣ, донесли на меня, и я вѣроятно отвѣчу за чужія проказы, если Горчаков не явится с того свѣта отстаивать права на свою собственность». Кромѣ безпардонных эстетов (или тупоумных безбожников) всѣ читатели Пушкина испустили бы вздох облегченія, если бы, дѣйствительно, могли повѣрить в авторство Горчакова и его способность владѣть пушкинским стихом.

¹⁰⁾ Мы имѣем в поэзіи Пушкина многообразныя и многочисленныя свидѣтельства о музѣ. Сюда относятся: «Муза 1821 г.» (В младенчествѣ моем), «Моя эпитафія» (1815), «Чаадаеву» (1821), «Наперсница веселой старины» (1821), «Вот муза, рѣзвая болтуня» (1821), «К ххх» (1822), «Ты прав», «Разговор книгопродавца с поэтов» (1824), «19 октября 1825 г.», особенно же 8-ая глава «Евгенія Онегина», строфы 1-6, гдѣ изображается поэтическая жизнь Пушкина в различных явленіях его музы, которая как будто пропизывает красотой и смыслом мелькающую жизнь, ея «мышью бѣготню», от мелкаго и обиденнаго до самаго высокаго.

Она меня во мглѣ ночной
Водила слушать шум морской,
Немолчный шолот Нереиды,
Глубокій вѣчный хор валов,
Хвалебный гимн Отцу міров (6).

тія, как бы духовнаго одержанія. Не есть ли Пушкинская муза самосвидѣтельство софійности его поэзіи, воспринимаемое им «яко зеркалом в гаданіи»? Это наитіе описывается им как нѣкое пифійство, в котором испытывается блаженство вдохновенія.

И забываю мір, и в сладкой тишинѣ, —
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзія во мнѣ
Душа стѣсняется лирическим волненъем,
Трепещет и звучит и ищет как во снѣ
Излиться, наконец, свободным проявленъем.

Но при этой как будто произвольности поэзія самоотвѣтственна. Она есть труд и служеніе: «велѣнью Божию, о муза, будь послушна». Насколько же это послушаніе распространяется от музы и на самого поэта? Да, оно несовмѣстимо с низостью и преступленіем, Бонаротти не мог быть убійцей, ибо «геній и злодѣйство двѣ вещи несовмѣстныя». Но требует ли святыня красоты святости от своего служителя? Если она свята, свят-ли служитель? Пушкин в Поэтѣ даст на этот вопрос столь же правдивый, сколько и страшный отвѣт:

Доколь не требует поэта
К священной жертвѣ Аполлон
.....
Молчит его святая лира
Душа вкушает хладный сон
И меж дѣтей ничтожных міра
Быть может всѣх ничтожнѣй он.

Стало быть, в поэтѣ может быть совмѣщено величайшее ничтожество с пифійным наитіем «божественнаго глагола», «два плана» жизни без всякой связи между ними. Выразил ли здѣсь Пушкин то, что сам он считал нормальным соотношеніем между творцом и творчеством? или же это есть стон души плѣненной, которая сама ужасается

своей плѣненности и подвергает ее беспощадному суду? Дается ли здѣсь поэту, так сказать, право на личное ничтожество? И совмѣстимо ли это послѣднее с самодовлѣющим величіем «царя» в его одиночествѣ и свободѣ, в жертвенности его служенія? Не обращается ли здѣсь поэт со словом укора и раскаянія, ему столь свойственных, к самому себѣ, к своему духу?

Вторая половина 20-ых годов есть наиболѣе важная эпоха в творческой жизни Пушкина, когда в нем совершается духовное пробужденіе, и окончательно преодолевается легкомысліе юношескаго атеизма и эпикурейства: в муках кризиса Пушкин как будто рождается духовно. Он в это время переживает ужас духовной пустоты: «дар мгновенный, дар случайный, жизнь, зачѣм ты мнѣ дана?». Он судит теперь свою юность высшим, нелицепріятным судом: «и с отвращеніем читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю».

«Безумных лѣтъ угасшее веселье
Мнѣ тяжело, как смутное похмѣлье,
Но как вино печаль минувших дней
В моей душѣ, чѣм старѣ, тѣм сильнѣй» (1830).

Надо считаться с тѣм, как умѣл таить себя Пушкин, и как был правдив и подлинен он в своей поэзіи, при сужденіи об этих сравнительно немногих высказываніях, чтобы оцѣнить во всем значеніи эти вѣхи сокровеннаго его пути к Богу. И эти вѣхи приводят нас к тому, что является не только вершиной пушкинской поэзіи, но и всей его жизни, ея величайшим событіем. Мы разумѣем Пророка. В зависимости от того, как мы уразумѣваем Пророка, мы понимаем и всего Пушкина. Если это есть только эстетическая выдумка, одна из тем, которых ищут литераторы, тогда нѣтъ великаго Пушкина, и нам нечего нынѣ праздновать. Или же Пушкин описывает здѣсь то, что с ним самим было, т.-е. данное ему видѣніе божественнаго міра под покровом вещества? Сначала

здѣсь говорится о томленіи духовной жажды, которое его гонит в пустыню: уже не Аполлон зовет к своей жертвѣ «ничтожнѣйшаго из дѣтсей міра», но пророчественный дух его призывает, и не к своему собственному вдохновенію, но к встрѣчѣ с шестикрылым серафимом, в страшном образѣ котораго нынѣ предстает ему Муза. И вот

Моих зѣниц коснулся он —
Открылись вѣщія зѣницы
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он,
И их наполнил шум и звон.
И внял я неба содраганье,
И горній ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.

За этим слѣдует мистическая смерть и высшее посвященіе :

И он к устам моим приник,
И вырвал грѣшный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрое змѣи
В уста замершія мои
Вложил десницею кровавой.
И он мнѣ грудь разсѣк мечем,
И сердце трепетное вынул,
И уголь, пылающій огнем.
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустынь я лежал...

И послѣ этого поэт призывается Богом к пророческому служенію: «Исполнишь волею Моею». В чем же эта воля? «Глаголом жги сердца людей»!

Если бы мы не имѣли всѣх других сочиненій Пушкина, но перед нами сверкала бы вѣчными снѣгами лишь эта одна вершина, мы совершенно ясно могли бы увидѣть не только величіе его поэтического дара, но и всю высоту

его призванія. Таких строк нельзя сочинить, или взять в качествѣ литературной темы, переложенія, да это и не есть переложеніе. Для Пушкинскаго Пророка нѣтъ прямого оригинала в Библии. Только образ угля, которым коснулся уст Пророка серафим, мы имѣем в 6-ой главѣ кн. Исаи. Но основное ея содержаніе, с описаніем бого-явленія в храмѣ, существенно отличается от содержанія пушкинскаго Пророка: у Исаи описывается явленіе Бога в храмѣ, в Пророкѣ явленная софійность природы. Это совсѣм разныя темы и разныя откровенія. Однако, и здѣсь мы имѣем нѣкое обрѣзаніе сердца, Божіе призваніе к пророческому служенію. Тот, кому дано было сказать эти слова о Пророкѣ, и сам ими призван был к пророческому служенію. Совершился ли в Пушкинѣ этот перелом, вступил ли он на новый путь, им самим осознанный? Мы не смѣем судить здѣсь, дерзновенно беря на себя суд Божій. Но лишь в свѣтѣ этого призванія и посвященія можем мы уразумѣвать дальнѣйшія судьбы Пушкина. Не подлежит сомнѣнію, что поэтическій дар его, вмѣстѣ с его чудесной прозорливостью, возрастал, насколько он мог еще возрастать, до самаго конца его дней. Какого-либо ослабленія или упадка в Пушкинѣ, как писателя, нельзя усмотрѣть. Однако, остается открытым вопрос, можно-ли видѣть в нем то духовное возрастаніе, ту растущую напряженность духа, которых естественно было бы ожидать, послѣ 20-ых годов, на протяженіи 30-ых годов его жизни? Не преобладает ли здѣсь мастерство над духовной напряженностью, искусство над пророчесственностью? Не чувствуется ли здѣсь скорѣе нѣкоторое духовное изнеможеніе, в котором находящійся во цвѣтѣ сил поэт желал бы скрыться в заоблачную келью, хотя и «в сосѣдство Бога», а сердце, которое умѣло хотѣть «жить, чтобы мыслить и страдать», просит «покою и воли», — «давно усталый раб замыслил я побѣг»¹¹⁾?

¹¹⁾ Правда, почти одновременно с этим стоном поэт хочет увѣрить себя:

Эту тонкую, почти неуловимую перемѣну в Пушкинѣ мы хотим понять, чтобы и в этом также от него научиться.

Можно без конца надрыватья в обличеніях среды, в которой вращался Пушкин. И тѣм не менѣе, всего этого недостаточно, чтобы объяснить то духовное его изнеможеніе, которое явственнo обозначается у него с 30-ых годов. Что же именно произошло с ним самим, в его свободѣ, в его духѣ, от всего внѣшняго отвлекаясь, хотя бы его и учитывая? Неужели же та самая Россія, которая могла породить и вскормить Пушкина, с извѣстнаго времени оказалась способна его только удушать и, наконец, погубить? ¹²⁾

5.

В «полдень» жизни Пушкин, послѣ рапущенности бурной юности, испытываетъ потребность семейнаго уюта: «мой идеал теперь хозяйка, да шей горшок да сам большой». Однако, выполнить эту «фламандскую» программу жизни для вовсе не фламандскаго поэта было не так просто, чтобы не сказать невозможно, как невозможно было бы это для его «Бѣднаго Рыцаря», опаленнаго видѣніемъ нездѣшней красоты. Именно трагедія красоты, являемой в образахъ женской прелести, как раз подстерегала Пушкина на его фламандскихъ путяхъ. Земная красота трагична, и страсть к ней в земныхъ воплощеніяхъ таитъ трагедію и смерть. Афродита и Гадес — одно: это знали еще древніе. И само откровеніе о любви также свидѣтельству-етъ: «крѣпка какъ смерть любовь, и какъ прѣисподняя ревность» (Пѣснь Пѣсней). И Пушкину суждено было сго-

О нѣтъ, мнѣ жизнь не надоѣла,
Я жить хочу, я жить люблю,
Душа не вовсе охладѣла
Утративъ молодость свою.

12) Дѣйствительно, Пушкин однажды обмолвился в письмѣ къ женѣ (уже в 1836 году): «...догадало меня родиться в Россіи с душой и талантомъ». Однако, это есть стонъ изнеможенія от своей жизни, но не выраженіе его основнаго чувства к родитѣ, его почвенности.

рѣть на этом огнѣ. Однако, первоначально узел трагедіи завязывается в идилліи: Пушкин пытается свить себѣ семейное гнѣздо. Отнынѣ судьба его опредѣлилась встрѣчей с красавицей Гончаровой. Он пережил эту встрѣчу (послѣ других «видѣній чистой красоты») еще раз, как явленіе «святыни красоты»¹³⁾, облскавшей однако довольно прозаическую посредственность. Пушкин в ослѣпленіи влюбленности называл ее даже и «мадонной», явно смѣшивая и отождествляя внѣшнюю красоту и духовную святость. Однако, она одинаково не оказалась ни «хозяйкой», потому что этому мѣшало ея призваніе быть царицей балов, ни музой (извѣстно ея равнодушіе к творчеству Пушкина). Однако, именно красота сдѣлалась для него узами всяческаго рабства¹⁴⁾. Его удѣлом было искать денег во что бы то ни стало на туалеты жены и свѣтскую жизнь. Нельзя не чувствовать жгучей боли перед этой картиной жизни Пушкина, который до извѣстной степени и сам погружался в эту пустоту свѣтской жизни¹⁵⁾. И, конечно, не в ничтожном Дантесѣ или в ко-

¹³⁾ «В альбом красавицѣ» обычно относится именно к Н. Н. Гончаровой. Правда, единственный автограф этого стихотворенія, найденный в 1930 г., оказался вырванным из альбома другой красавицы, гр. Е. М. Завадовской, но это не имѣет рѣшающаго значенія для вопроса об его первоначальном назначеніи и посвященіи.

¹⁴⁾ Пушкин увѣряет самого себя в письмѣ к женѣ (уже в 1832 г.): «никогда я не думал упрекать тебя в своей зависимости. Я должен был на тебѣ жениться, потому что всю жизнь был бы без тебя несчастлив». (Этому утверженію совершенно не соответствуют фактическія обстоятельства, сопровождавшія его женитьбу: Пушкин и тогда уже сравнительно легко утѣшался в своих неудачах). «Но — продолжает поэт — я не должен был вступать на службу, и что еще хуже, опутать себя денежными обязательствами. ...Теперь они смотрят на меня как холопа. Но ты во всем этом не виновата, а виноват я из добродушія, коим я пренеполнен до глупости, несмотря на опыты жизни».

¹⁵⁾ Гоголь жалуется Данилевскому: «Пушкина нигдѣ не встрѣтишь, как только на балах. Так он протранжирует всю жизнь свою, если только какой-нибудь случай или болѣе необходимость не зашатают его в деревню». Мы видим, как Пушкин время от времени порывался выйти в отставку, сбросить цѣпи, уѣхать, и когда это случилось, его в деревенском уединеніи постигало вдохновеніе. Но это

варном Геккеренѣ, которые явились орудіем его рока, надо видѣть истинную причину гибели Пушкина, а во всем этом пути жизни, на который поставлен он был послѣ женитьбы. Он не есть ни путь поэта, ни тайновидца міра. В концѣ своего жизненнаго пути Пушкин задыхался и искал смерти, и это толкало его к гибели на дуэли. Раньше Дантеса и Геккерена он вызывал в 1836 году на дуэль своего друга графа Соллогуба и близок был к тому же относительно князя Репнина. Овлаждѣвавшее им отчаяніе нашло в домогательствах и интригах обоих Геккеренов наибольшее естественный и как будто оправданный исход. Но эта встрѣча (вмѣстѣ с анонимными письмами и дипломом) является все-таки второстепенной и сравнительно случайной. Рѣшающим было то, что так жить Пушкин не мог, и такая его жизнь неизбѣжно должна была кончиться катастрофой. Скорѣе нужно удивляться тому, как еще долго мог он выносить эту жизнь, состоящую из безконечной серіи балов, исканія денег, придворной суеты. Здѣсь, конечно, не слѣдует умалять, — как не слѣдует и преувеличивать — раздражающаго дѣйствія правительственнаго надзора, безсмыслия цензуры, неволи камер-юнкерства. Пушкина спасал лишь его чудесный поэтический дар: Михайловскія рощи пѣяли въ немъ

...уже

Усталого пришельца. Я еще был молод, но судьба
Меня борьбой неравной истомила.
Я был один. Врага я видѣл в каждом,
Измѣнника — в товарищѣ минутном,
И бурныя кипѣли в сердцѣ чувства,
И ненависть, и греза мести блѣдной.
Но здѣсь мня таинственным щитом
Прощеніе святое осѣнило,
Поэзія, как Ангел утѣшитель,
Спасла меня.

желаніе неизбѣжно разбивалось о разнаго рода препятствія, которыя оказались непреодолимыми для Пушкина.

По свидѣтельству друзей, Пушкин почти наканунѣ дуэли был исполнен особаго религіознаго входновенія, он говорил о путях Провидѣнія, о благоволеніи. Но это были свѣтоносныя моліи во мракѣ его собственной неудачной жизни.

Что же произошло в судьбѣ Пушкина, как создалась эта безысходность в жизни того, кому дано было животворить? Мы можем сейчас почти с фотографической точностью изобразить внѣшній ход событій со всей их роковой неизбежностью и далѣе — соотвѣтственно личным взглядам — заклеить с наибольшей силой: свѣт, двор, царя, жену Пушкина. Но в духовной жизни внѣшняя принудительность имѣет не абсолютную, а лишь относительную силу: нѣтъ желѣзнаго рока, а есть духовная судьба, в которой послѣдовательно разворачиваются и осуществляются внутреннія самоопредѣленія. И в этом смыслѣ судьба Пушкина есть, прежде всего, его собственное дѣло. Отвергнуть это, значит совершенно лишитъ его самого отвѣтственнаго дара, — свободы, превратив его судьбу в игральнице внѣшних событій. Над свободой Пушкина до конца не властны были одинаково ни Бенкендорфская полиція, ни мнѣніе свѣта, ни двор. Итак, рѣчь идет о том, что именно происходило в душѣ самого Пушкина?

Смерть на дуэли не явилась неожиданной случайностью в жизни Пушкина. Напротив, призрак ея, как нѣкій рок, как навязчивая идея, преслѣдовал его воображеніе. Он как будто заранѣе переживал ее в творческом воображеніи, уже в Евгеніи Онѣгинѣ (послѣ убійства Ленскаго, «окрававленная тѣнь ему являлась каждый день»), и даже как будто наперед произносил суд над собой¹⁶⁾. Также томило

¹⁶⁾ Вот этот суд :

(Онѣгин) был должен оказать себя
Не мячиком предубѣжденій,
Не пылким мальчиком, бойцом,
Но мужем с честью и умом.

его и предчувствіе скорой смерти, которой он одновременно и ждал, и вмѣстѣ по язычески отвращался. Постигал он в поэтическом воображеніи заранѣе и муки ревности¹⁷⁾. Противник Пушкина был настолько его недостоин, что нужно говорить не о нем, а о том вулканѣ страсти, который бушевал в сердцѣ поэта и искал изверженія. В этом совершалась судьба Пушкина, как трагедія красоты. На крыльях ея был он вознесен на высоту, но служитель красоты нездѣшной оказался в цѣпях неволи красоты земной. И эта неволя как будто заглушила в нем слышанное в пустынѣ, потеряна была дорога жизни.

...всѣ дороги занесло
Хоть убей, слѣда не видно,
Сбились мы, что дѣлать нам!
В полѣ бѣс нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.

Что же случилось, помимо пошлых дипломов и ласквилей, ухаживаній Дантеса, сужденій свѣта и пр., —

Но шопот, хохотня глупцов,
И вот общественное жгѣнье,
Пружина чести, наш кумир,
И вот на чем вертится мір.

(Евг. Онѣг., гл 6, стр. 11).

17) Трудно сказать об этом что либо болѣе сильное, нежели им самим сказано. (Евг. Онѣг., гл. 6, стр. 15):

Да, да, вѣдь ревности припадки —
Болѣзнь так точно, как чума,
Как черный сплин, как лихорадка,
Как поврежденіе ума.
Она горячкой пламенѣет
Она свой жар, свой бред имѣет,
Сны злые, призраки свои.
Помилуй Бог, друзья мои,
Мучительнѣй нѣтъ в мірѣ казни
Ея терзаній роковых.
Повѣрьте мнѣ, кто вынес их,
Тот уж, конечно, без боязни
Взойдет на пламенный костер,
Иль шею склонит под топор.

гдѣ произошел надлом жизни, отклоненіе ея пути от собственной траекторіи?

Когда Пушкин встрѣтил свою будущую жену, она была 16-лѣтней дѣвочкой. Он плѣнился ея красотой, которая заставила снова зазвенѣть струны его лиры и всколыхнула глубочайшій слой его души. Он созерцал ея, благоговѣя «богомольно пред святыней красоты», о ней он писал: «Творец тебя послал, моя Мадонна, чистѣйшей прелести чистѣйшій образец». Она стала грезой его вдохновенія. Но эта красота была только красотой, формой без содержанія, обманчивым осіяніем.

Не будь Гончарова красавицей, Пушкин прошел бы мимо, ея просто не замѣтив. Но теперь он сдѣлался невольником — уже не красоты, а Натальи Гончаровой. Это было первое трагическое противорѣчіе, влекущее к трагической гибели Пушкина. Достоевскій говорит о соблазнительном смѣшеніи мадонны и веныры под покровом красоты. Здѣсь же соединились «мадонна» и фрейлина петербургскаго двора, свѣтская дама с обывательскою психологіей. И кромѣ того, Пушкин вступил в брак с предметом своего поэтическаго поклоненія, желая в то же время получить в ней «хозяйку» и жену. В Пушкинѣ, в свое время отдавшем полную дань безпутству молодости, теперь пробудился отец и семьянин (хотя, впрочем, отнюдь не безупречный). Письма его к женѣ исполнены семейственных чувств и забот, дают тому трогательное свидѣтельство. Но всеобщее поклоненіе женѣ Пушкина было отнюдь не «богомольным благоговѣніем пред святыней красоты», а обычным волокитством, получившим для себя наиболѣе яркое выраженіе в образѣ Дантеса. Собственное же «благоговѣніе», или поэтическое созерцаніе красоты в Пушкинѣ превратилось в изступленную ревность, настоящее безуміе страсти. Этот, сначала под пеплом тлѣющій огонь, затѣм бурно вспыхнувшее пламя, мы мучительно наблюдаем в послѣдніе годы жизни Пушкина. Время от времени невольник хочет сбросить с себя эти цѣпи, вырваться из заколдованнаго круга петербургскаго дво-

ра, уѣхать в деревню¹⁸⁾), но эти порывы остаются безсильны: двор, жена, обстоятельства его не отпускают, да и сохранялась ли к тому достаточно твердая воля, не разслабленная неволей? Пушкин спасается в творчествѣ, пророк ищет себѣ убожища в поэтѣ. Поэтический дар Пушкина не ослабѣвает. Правда, он уже не достигает тѣх духовных восхожденій, к которым призывался пророк. Пророческое творчество в нем, извинѣ столь «аполлиническое», уживается с мрачными безднами трагического діонисизма, существованіем двух планов, в которых творчество продолжает свою жизнь преимущественно как писательство. Для многих писателей, если не для большинства, такая дупланность является удовлетворяющим жизненным исходом, духовным обывательством, увенчиваемым музой. Так для многих, но не для Пушкина. Ибо Пушкин был Пушкин, и его жизнь не могла и не должна была благополучно вмѣщаться в двух раздѣльных планах. Расплавленная лава страсти легко разрывает тонкую кору призрачнаго аполлинизма, начинается изверженіе.

Совершилось смѣщеніе духовнаго центра. Равновѣсіе, необходимос для творчества, было утрачено, и эта утрата лишь прикрывалась его желѣзным самообладаніем. Духовный источник творчества изсякал, несмотря на то, что в его распоряженіи оставалась всѣ художественныя средства его поэтического дара, вся палитра красок. Дойдя до роковой черты барьера, он стал перед жребіем: убив, или быть убитым. Конечно, Пушкин, если бы рок судил ему стать убійцей, оказался бы выше своего Онѣгина, и никогда бы не смог позабыть это и опуститься до его духовной пустоты. Во всяком случаѣ, за этой гранью все равно должна начаться для него новая жизнь с уничтоженіем двух планов, с торжеством одного, того высшаго плана, к которому был он призван «в пустынь».

Является превышающим человѣческое вѣдѣніе судить,

18) Послѣ стихотворенія «Пора, мой друг, пора», читаем приписку: «о, скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню! Поля, сад, крестьяне, книги, труды поэтическіе, семья, любовь. Религія, смерть».

доступно ли было для души Пушкина новое рождение на путях жизни. Но Промысл Божій судил иначе: этим новым рождением для него явилась смерть, и путь к нему шел через врата смерти. Трагическая гибель явилась катарсисом в его трагической жизни, очищенная и свободная вознеслась душа Пушкина. Внѣ этого трагическаго смысла смерть Пушкина была бы недостойна его жизни и творчества, явилась бы подлинно величайшей бессмыслицей, или случайностью. И лишь этот спасительный катарсис исполняет ее трагическим и величественным смыслом, который дано было ему явить на смертном одрѣ в великих предсмертных страданіях. Ими он покупал утраченную им свободу, освобождался от земного плѣна, восходя в обитель Вѣчной Красоты.

6.

В трагедіи Пушкина обнаружилась вся недостаточность для жизни только одной поэзіи, ибо писатель, даже гениальный, еще не исчерпывает и не опредѣляет собой человекѣка. В исторіи дуэли и смерти Пушкина мы наблюдаем два чередующихся образа: разъяренного льва, который может быть даже прекрасен, а вмѣстѣ и страшен в царственной львиности своей природы, и просвѣтленного христіанина, безропотно и умиренно отходящаго в покой свой.

Этот образ сохранен для нас Жуковским, вмѣстѣ с другими свидѣтелями смерти Пушкина. Свидѣтельство Жуковскаго убѣдительно одинаково как положительными чертами, так и отсутствіем диссонансов, даже если допустить извѣстную стилизацію. Этого нельзя выдумать и сочинить даже Жуковскому. В умирающем Пушкинѣ отступает все то, что было присуще ему накануне дуэли. Происходит явное преображеніе его духовнаго лика, — духовное чудо. Из-под почернѣвшаго внѣшняго слоя просвѣтляется «обновленный» лик, свѣтоносный образ Пушкина, всепрощающій, незлобивый, с мужественной покорностью смотрящій в лицо смерти, достигающій того духовнаго мира, который был им утрачен в страсти. Запо-

вѣдь: любите враги ваши — стала для него доступной. Он примирился, простил врагов, крови которых он только что жаждал. Простая дѣтская вѣра в Бога и в Его милосердіе, столь свойственная свѣтлой дѣтскости его духа, озаряет его своим миром. Приняв напутствіе церковное, он благословляет семью, прощается с друзьями и безропотно и безстрашно отстрадывает послѣдніе часы. Мы можем опознать как бы отдѣльные моменты в этой геэсиманской ночи, различить наступавшія ея свершенія в этих тѣлесных страданіях смертной тоскѣ, таившей страшныя муки раскаянія и ужаса перед содѣянным. Но все это было побѣждено христіанским довѣріем к Промыслу: да будет воля Твоя! На смертном одрѣ поэт-христіанин в молчаніи своем снова поднимается до просвѣтленія пророка, через смерть восходя к духовному воскресенію...

Земная жизнь уже закончилась на дуэли. Наступил лишь краткій, но рѣшительный эпилог, в котором в священном молчаніи изжито было ея содержаніе, подведены итоги. Часы и минуты переживались как годы. Спадали ветхой чешуей чуждыя краски, утихали страсти, от спасительнаго взрыва обнажалась первозданная стихія.

«...Я долго смотрѣлъ один ему в лицо послѣ смерти (пишет Жуковский). Никогда на этом лицѣ я не видѣлъ ничего подобнаго тому, что было на нем в эту первую минуту смерти... Это было не сон и не покой. Это не было выраженіе ума, столь прежде свойственное этому лицу. Это не было также выраженіе поэтическое. Нѣтъ! какая-то глубокая удивительная мысль на нем разливалась, что-то похожее на видѣніе, на какое то полнос, глубокое удовольствованное знаніе... В эту минуту, можно сказать, я видѣлъ самое смерть, божественно тайную смерть без покрывала».

Кончина Пушкина озарена потусторонним свѣтом. Она является разрѣшительным аккордом в его духовной трагедіи, есть ея катарсиз. Он представляется достойным завершеніем жизни великаго поэта и в этом смыслѣ как бы его апоѳеозом.

Прот. С. Булгаков.